

A woman in a long, flowing white dress stands in a vast field of tall, golden-brown grass. The sky is dark and stormy, with heavy, dark clouds. The overall mood is mysterious and atmospheric. The woman is positioned in the lower right quadrant of the frame, looking towards the horizon. The grass is blowing in the wind, creating a sense of movement. The sky is filled with dark, swirling clouds, suggesting an approaching storm or a dramatic event. The lighting is low, with a soft glow on the horizon, highlighting the texture of the grass and the fabric of the dress.

Леля Немичева

Где живёт мистика...

Леля Немичева

Где живёт мистика...

<https://litres.ru/73524052>

SelfPub; 2026

Аннотация

Есть истории, которые не выдумывают. Их вспоминают. Их рассказывают вечером, когда разговор вдруг становится тише. Когда кто-то из старших говорит:

«А вот был у нас случай...»

Про женщину, которая на Пасху танцевала на столе. Про мальчика, решившего проверить, правда ли у покойников не открывается рот. Про мужа, которого догнала обида той, кого он мучил при жизни. Про встречи на старых кладбищах, где мёртвые иногда возвращаются к своим родственникам.

Это не страшилки и не городские легенды. Это истории, выросшие из реальной жизни, из степных хуторов, маленьких городов, семейных разговоров и старых воспоминаний. Там, где люди живут рядом с памятью земли и не удивляются тому, что иногда граница между живыми и ушедшими оказывается тоньше, чем мы привыкли думать.

Смешные, горькие, странные и тревожные эти рассказы складываются в одну большую историю о человеческой судьбе. Потому что самое мистическое в мире - не призраки. Самое мистическое — это память.

И иногда она возвращается.

Содержание

Глава	5
Пролог	6
Тени под плакучей ивой	8
Догнала	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Где живёт мистика...

Глава

Пролог

Есть места, где мистика не живёт отдельно от быта.

Она не прячется в чёрных лесах, не воеет под окнами по заказу и не выходит на сцену в положенный час. Она просто стоит рядом. Между кастрюлей с ухой и старым сараем, между запахом полыни и вечерним чаем, между смехом за столом и тем внезапным молчанием, когда кто-то из старших вдруг говорит: «А вот был у нас случай...»

Степь вообще не любит лишних движений. Здесь всё большое, редкое и честное. Ветер так до звона в голове. Тишина такая, что слышно собственное сердце. И если уж в этой тишине что-то заговорит, покажется или напомнит о себе, то отмахнуться уже не получится. Потому что в степи человек меньше, чем ему кажется в городе. Здесь он не хозяин мира, а всего лишь гость временный, шумный, самоуверенный.

А степь помнит всех.

Тех, кто жил на хуторах и фермах. Тех, кто пас скот, ждал паром, ловил рыбу, строил сараи, пил, любил, бил, терпел, хоронил. Тех, кто не успел дожить своё. Тех, кто ушёл с обидой. Тех, кого потом ещё долго вспоминали шёпотом, вполголоса, будто боялись не потревожить, а снова позвать.

Все эти истории не про «нечисть» в лоб. Не про то, как

кто-то кого-то схватил за ногу в полночь. Они про другое. Про то, как тесно в нашей жизни сплетены смешное и страшное, будничное и необъяснимое. Как легко за общим столом, среди шуток, дыма от мангала и звона ложек, вдруг услышать такую историю, после которой уже не так просто выйти ночью за порог.

Я всегда думала, что самые жуткие рассказы рождаются не в заброшенных замках и не в тёмных подвалах. А именно здесь, среди живых людей, в самых простых декорациях. Там, где днём чистят рыбу, гоняют коров, ругаются из-за посуды, спорят про автоклав и пьют чай под шатром. А вечером вдруг выясняется, что у земли долгая память, у обиды свой срок, а у некоторых историй нет привычки заканчиваться вместе с человеческой жизнью.

Эти рассказы именно такие.

Они выросли из степной пыли, из семейных разговоров, из услышанных баек, из чужих судеб и из того особенного южного чувства, когда рядом с тобой всё время существует ещё что-то. Не обязательно злое. Но древнее. Терпеливое. И очень внимательное.

Прислушайтесь.

Степь редко говорит громко. Но если уж заговорит, её лучше дослушать до конца.

Тени под плакучей ивой

Приехали мы как-то летом в Ставрополь, в гости к бабушке Дусе — родной сестре моего деда. Самого деда в живых уже давно не было, но связь между нашей семьёй и Дусей оставалась прочной, как старый, глубоко ушедший в землю, перевитый жилами корень.

Бабушка моя, Анфиса, очень дружила со своей золовкой. Часто, сидя долгими зимними вечерами, она вспоминала, как пришла в их семью совсем молодой невесткой — испуганной, с одним маленьким, потрёпанным фанерным чемоданчиком. Время тогда стояло голодное, тяжёлое, послевоенное. А Дуся была у свёкров одна-единственная дочка среди шумных мальчишек. Любили её и жалели пуще глаза, берегли, как последнюю каплю мёда в пустой горсти.

Свекровь моей бабушки, суровая женщина с лицом, изрезанным морщинами глубже, чем колеи на степной дороге, частенько говаривала молодой невестке. Вздыхала при этом так тяжело, что казалось, будто ветер в печной трубе завывает:

— Я, милая, пятнадцать раз рожала. Раньше ведь как было: мать старалась до года к ребёнку душой не прикипать, сердце в камень обращала. Если до года дитё помиралось — шли в церковь, искренне Бога благодарили: забрал ангелом к себе, без земных мук. Так и у меня было... Из пятнадцати —

шестеро живых осталось. Да только старшую дочку, шестнадцатилетнюю красавицу, прямо на поминках местная ведьма отравила. Тыквенными семечками девку угостила, на верную смерть заговорёнными. Когда её в сырую землю опускали, я думала — сердце у меня прямо там лопнет, с ней лягу в могилу. Ещё одного сына потом война проклятая забрала... Четверо в итоге осталось. И вот дочка — сильно уж любимая, последняя наша ласточка.

И поначалу старики из последних сил, копейку к копейке, старались для Дуси лишний кусок ситца отложить, конфетку заветную припрятать. Но Дуся наотрез отказывалась. Строго качала головой, и в глазах её стояла непреклонная, почти взрослая справедливость:

— Что вы, что вы! У вас теперь младшая невестка, Анфиса, в доме живёт. Она вам теперь как родная дочь. Берите да делите всё поровну на нас обеих. Так честнее будет.

Так и прожили они все вместе — душа в душу, доля горе и редкую радость пополам. Даже несмотря на то, что Дуся потом в другом городе замуж вышла.

И вот мы в Ставрополе. Лето там тоже знойное, но совсем иное — влажное, душное, обволакивающее тебя со всех сторон, как горячая мокрая простыня. И, в отличие от нашей Элисты, где жестокое солнце выжигает всё живое до бледной сухой травинки, здесь город просто утопал в зелени, захлёбывался ею. Мне, ребёнку степей, выросшему под куполом бескрайнего, выцветшего неба, это казалось насто-

ящим чудом и немного тайной. Деревья росли густо, важно. Трава была сочная, мясистая, густо пахнувшая, а грецкие орехи, тяжёлые и зелёные, свисали с веток на каждом шагу. Здесь можно было легко скрыться в прохладной, густой, почти жидкой тени, а не носиться, как ошпаренная ящерица, под палящим, безжалостно-прозрачным солнцем, как у нас дома.

У бабушки Дуси как раз выпали поминальные дни — мужу десять лет, как не стало. Собрались они с утра на кладбище, и нас с моей троюродной сестрой Наташкой, естественно, взяли с собой. Не оставлять же детей одних в тихом, пахнущем стариной и пыльными яблоками доме.

Кладбище там было совершенно другое. В Элисте — в основном голые холмики да простые железные памятники с красными звёздами, выжженная жёлтая трава да щемящее ощущение бескрайнего, пустого неба, нависающего прямо над головой. Здесь же, среди сумрачной изумрудной зелени, стояли массивные каменные плиты, тёмные, как запёкшаяся кровь, резные кресты из тяжёлого гранита и мраморные ангелы с отбитыми временем крыльями. Для меня это было ещё одним открытием — как будто я попала в другой, застывший мир. Тихий, прохладный и бесконечно грустный, где время текло густо и медленно.

Пока взрослые убирали могилы, о чём-то тихо беседуя голосами, похожими на сухой шорох листьев, нам, детям, быстро стало скучно. Мы пошли бродить среди памятни-

ков, с любопытством разглядывая выцветшие фотографии в овальных эмалевых рамках и странные, полустёртые надписи: «Живите за нас», «Спи спокойно, дорогая мама». Засмотрелись, заболтались и в какой-то момент с тихим, леденящим желудок ужасом поняли, что заблудились. Узкие аллеи вились причудливо, раздваивались, и все кресты, все каменные лики стали казаться одинаково чужими и пугающими.

И тут мы встретили двух женщин. Одна — уже в годах, с очень добрым, смертельно усталым лицом, в простом тёмном платке, завязанном под самым подбородком. Другая — совсем молоденькая, почти девочка, с тонкой, лебединой шеей и большими, светлыми, не по-детски спокойными глазами. Та, что постарше, ласково спросила нас, и голос у неё был какой-то нездешний, мягкий, как старый шёлк:

— Девочки, вы чьи будете? Заблудились, поди?

Наталья, сестра моя, робко ответила, машинально спрятав перепачканные землёй руки за спину:

— Мы пришли за нашими могилками ухаживать...

— А зовут тебя как? — мягко перебила её женщина. При этом она смотрела на Наташу с каким-то особенным, пристальным, жадным вниманием, будто давно узнавая. На меня она не взглянула ни разу. Я для неё в тот момент была лишь бестелесной тенью, пустым фоном.

— Наташа.

— Наташа, значит... — Женщина улыбнулась, и улыбка

её была такой тёплой и до боли печальной одновременно, что у меня в груди что-то болезненно ёкнуло. Она мягко, почти невесомо, погладила мою сестру по голове. — Я ведь тоже Наташа. А это — моя Валечка.

Она кивнула на юную девушку, которая тоже застенчиво улыбнулась одними уголками бледных губ. Девушка не сказала ни единого слова, только смотрела на нас своими огромными, прозрачными глазами.

— Мы тоже тут, у своих могил, — продолжила женщина-Наташа, и её взгляд потеплел. — Смотрите.

Она повела рукой — узловатой от тяжёлого труда, но удивительно изящной — указывая на две могилы, стоящие особняком в густой тени огромной плакучей ивы. Могилы были совсем заброшены. Холмики безнадёжно просели, словно земля однажды тяжело вздохнула и больше не поднялась. Деревянные, облупившиеся кресты сиротливо покосились друг к другу, а всё вокруг плотно заросло колючим бурьяном и какими-то мелкими синими цветочками.

— Да-а... — невольно протянула я, нарушив тишину. — Давно вы, наверное, не приходили сюда убираться.

— Давно, — тихо и так безнадёжно грустно сказала женщина, что мне вдруг стало жутко стыдно за свой глупый вопрос.

Её взгляд снова прилип к Наташе.

— Ты, Наташа, бабушке своей передай, что Наташу с Валечкой встретила возле их могил. Пусть зайдёт она к нам.

А вас сейчас на дорожку выведу, да запомните дорогу сюда хорошенько.

— Так пойдёте с нами сразу! — быстро, почти умоляюще предложила я, отчаянно не желая оставаться с сестрой в этом каменном лабиринте.

— Не можем мы далеко отходить, — просто и бесхитростно ответила женщина. И в её тихих словах прозвучала такая непреложная, нечеловеческая истина, что спорить было немыслимо.

Она вывела нас на широкую, знакомую тропинку и указала длинным бледным пальцем направление:

— Вон за тем ангелом с крылом — свернёте налево, а потом — прямо мимо чёрного обелиска. И выйдете.

Мы обернулись, чтобы поблагодарить за помощь, но на узкой аллее уже никого не было. Только колыхалась на внезапно налетевшем ветерке высокая сочная трава, да шумно перешёптывались зелёные вершины старых лип.

Подбегаем к своим и ещё издали слышим обрывок встревоженного, сбивчивого разговора бабушек.

— ...Вот память-то, Анфис, отшибло совсем на старости лет! Хоть убей, не помню, где могила сестры родной моего покойного, Натальи. Горе-то какое, и забыть-то его нельзя... Она ведь как дочку свою, Валентину, тридцать лет назад, совсем молоденькой девчонкой от чахотки хоронила — так у неё прямо там сердце не выдержало. Разорвалось от невыносимой материнской боли. Прямо на свежей могиле дочери

упала и больше не поднялась. Трагедия на всю семью была. Захоронили их рядышком, рука об руку. Родня мужа сначала ухаживала, свежие цветы носила, а теперь... кому носить? Все разъехались, повымирали. Я вот и найти теперь не могу, глаза старые, а кладбище большое...

Бабушка Дуся обернулась, увидев нас, и лицо её, мгновение назад озабоченное, сразу смягчилось, расплылось в морщинистой улыбке:

— А вот и наши внучки-пропажи нашлись! Мы с Анфисой уж милицию вызывать собирались, думали, где потерялись.

— Бабушка! — выпалила запыхавшаяся Наташа, глаза её были круглыми, как блюдца, от волнения. — Ты сейчас про Наташу с Валеёй говорила?! А мы только что женщин с такими именами там встретили! Они просили передать!

И мы наперебой, сбиваясь и перебивая друг друга, выложили им всю нашу невероятную историю. Бабушка Дуся и Анфиса медленно переглянулись. В их выцветших глазах, мудрых и много повидавших на этом веку, не было ни единой тени страха. Только глубокая, смиренная печаль и какое-то тихое, благоговейное изумление. Будто они только что стали свидетелями очень простого, но совершенно неоспоримого чуда.

— Ну надо же... — только и ахнула Дуся, медленно, размашисто крестясь. — Прямо как в старину бывало... Покойники сами о себе напоминают. Ну, что ж... Пошли, Анфис,

посмотрим на эти могилы. Раз сами вышли и указали дорогу — значит, так надо.

Не говоря больше ни слова, они молча взяли тряпки, старые тряпки, почти полное ведро с водой и пошли за нами. А мы, как заворожённые, шли впереди, и ноги сами несли нас по запомнившейся тропке — мимо мраморного ангела с отбитым крылом, мимо чёрного обелиска, налево. Бабушка Дуся, увидев те самые заброшенные могилы в густой тени плакучей ивы, долго смотрела на покосившиеся кресты. А потом тихо кивнула, и голос её дрогнул:

— Их... Узнаю. Вот они. Совсем заросли, бедные мои...

Вечером, дома, когда за окнами стемнело и в тёплой комнате уютно запахло вечерним чаем и песочным печеньем, бабушка Дуся принесла из спальни старый, потрёпанный по краям тяжёлый бархатный альбом. Она листала пожелтевшие, хрустящие страницы очень осторожно, будто боялась рассыпать чужую жизнь в прах, и вот — нашла. С чёрно-белой фотографии, выцветшей до цвета старого липового мёда, смотрели на нас те самые две женщины. Мать с тем же мягким, усталым, но теперь счастливо улыбающимся лицом. И дочь-подросток с теми же ясными, немного задумчивыми и кроткими глазами. Та самая Наташа. И её Валечка.

— Надо же, — шептала бабушка, осторожно проводя сухим, дрожащим пальцем по выпуклой глянцевой поверхности карточки. — Так и есть... Показалась правнучке своей, в честь неё же и названной. Неприкаянные они там лежат,

видно. Вышли, чтоб могилы не забывали. Чтоб поминали.

Мы сидели в густой тишине, нарушаемой только мерным тиканьем стенных часов да далёким, ленивым лаем соседской собаки. Я думала о том, как тонка и прозрачна бывает граница между нашими мирами. Не страшными, зловещими призраками из фильмов ужасов приходят они к живым, а тихими, почти осязаемыми, лишь чуть более бледными тенями. Приходят не для того, чтобы пугать и сводить с ума. А чтобы просить, напоминать, звать за собой по единственной, только им ведомой тропинке. С одной лишь мольбой: не забывайте.

Память — это та самая тонкая, но прочнейшая нить, что связывает нас со всем, что было до нас. И, может быть, именно она нетканым, невидимым полотном ляжет в основу всего, что будет после. И самое важное, самое простое и одновременно самое сложное, что мы можем сделать на этой земле — это просто помнить. Помнить. И передавать эту эстафету воспоминаний дальше. Из рук в руки, из сердца в сердце, как передают ту самую старую, выцветшую фотографию, бережно хранимую в бархатном альбоме семейной летописи.

Догнала

Приехала я в Элисту сразу после свадьбы . Край, где выросла, мужу показать. Родные степи, родное небо. Как назло, разыгрался астраханец , будто сама земля вздохнула полной грудью и не могла остановиться. В моём городе даже дети знают: если этот упрямый, печальный ветер дует три дня подряд — жди восемнадцать. Восемнадцать дней он будет носиться с полей, неся мелкий, наждачный песок, который скрипит на зубах, забивается под ногти, просачивается сквозь закрытые окна и плотные шторы , будто сама тоска материальная, осязаемая.

Муж мой, коренной москвич, на третий день был на грани. Его сбивала с толку не столько сила ветра, сколько его постоянство , этот нескончаемый, монотонный гул, под который даже мысли разбегались. Он стоял у затянутого рыжей дымкой окна, и я видела, как он стискивает челюсти, слыша тот самый тихий хруст на зубах.

— Это у вас тут... всегда так? — спросил он наконец, и в его голосе было не раздражение, а почти отчаяние. — Вечно гудит и сыпет?

Местные, к которым он обращался за подтверждением, только понимающе качали головами, гордые своим стоическим, выстраданным безразличием. Мол, привыкли, что ли. Душа, должно быть, у нас из того же песка слеплена, что и

степь, сухая, терпеливая, не ждущая покоя.

Забрели мы, спасаясь от песчаного хаоса, в наш родовой дом к тётке Рае. Несла с собой гостинцы, а в душе тихую радость от того, что покажу ему это тихое пристанище. Саманные стены хранили в себе не летний зной, а глухую, сыроватую прохладу, о которой в городских бетонных коробках с оплывающими от жары обоями можно было только мечтать. Воздух внутри был густой, неподвижный. Пахло глиной, сушёной полынью, развешанной у порога от моли, и той особенной, вековой пылью, что оседает только в домах, где умерли не все надежды.

Слово за слово, заварка за второй заваркой, тётя Рая, поправляя кончик платка, и поведала, что приключилось с ней прошлым летом. Голос её с самого начала стал каким-то осторожным, приглушённым, будто она боялась спугнуть не нас, а само это воспоминание, хрупкое, как паутина в углу.

— Перед тем, как дядька твой, Иван Степанович, умер, я покойную жену его видела, — начала она, и её пальцы бессознательно стали гладить шершавую поверхность стола. — Воду тогда по часам давали, раз в три дня. До нас, на самый край улицы, она доходила еле-еле, чуть сочилась из крана. Чтобы полить хоть что-то, приходилось вставать в пятом часу, пока весь город спит, а в трубах ещё дрожит последний, самый сильный напор.

Выхожу как-то на зорьке, в этих сизых, полусонных сумерках. Смотрю и замираю. Под абрикосой стоит фигура. В

ситцевом платье в мелкий цветочек, в той самой элегантной шляпке с полями, что Иван ей из Москвы привёз... Тамара, жена его. Уже пятый год как она в могиле.

— Ты же помнишь, — тётя Рая посмотрела на меня, ища в моих глазах подтверждение, что память о тех людях ещё жива. — Иван Степанович, двоюродный брат мой, уважаемый человек в городе был. Историк. Всю жизнь наш край на бумагу переложить мечтал, в архивах, как крот, дни напролёт копался. Настоящая интеллигенция. А Тамара его половинка, под стать, воздушная такая, из другой жизни.

Так вот стоит она, не шелохнётся, и смотрит на меня. Не сквозь меня, а прямо на меня. Таким пристальным, тяжёлым взглядом, будто хочет что-то сказать, да язык отнялся. У меня аж лейка из онемевших рук выпала, вода по земле растеклась чёрным пятном. Моргнула, а её уже нет. Растворилась в предрассветной мути, будто и не было.

И на следующий день, та же картина. И на третий. Молчаливое, назойливое явление.

А Иван-то в те самые дни как раз к нам завернул. Зашёл, сел, и видно было, человек разрывается. Нашёл себе, знаешь, женщину хорошую. Врача. Любовь у них на самом склоне лет вспыхнула, обоим под шестьдесят, а горели, как подростки.

Мама моя, наливая ему чай, не выдержала:

— Иван, долго ты ещё к ней пешком через весь город в такую жару бегать будешь? Не молодые уже. Сходились бы

уж.

Он сидел, в чашку смотрел, но весь светился изнутри, будто в нём включили какую-то лампочку, давно забытую.

— Да, Анфис, — сказал он тихо, но твёрдо. — Наверное, предложение сделаю. Хватит уже ходить вокруг да около. Жить пора.

Чаю попили, поговорили о пустяках, о ценах, о погоде, обо всём, кроме того главного, что пульсировало в тишине между слов. Потом он встал и уже в дверях обернулся, улыбка у него была какая-то виноватая и счастливая одновременно. И убежал. Прямо-таки побежал, как в молодости, к ней, к этой поздней, неожиданной надежде.

А я тем временем в сарае убиралась, старый хлам выкидывала. И надо же, отодвинула покосившуюся, засыпанную паутиной тумбу, а там... сумка моя забытая. Кожаная, когда-то модная. Ещё с той поры, когда я молодая была, в проектно-институте чертила, детей ещё не имела и думала, что вся жизнь впереди. Пыли в ней было по колено.

Открываю на ощупь, а на самом дне — свёрточек, завёрнутый в ломкую газетную бумагу. И память, как обухом, ударила: вспомнила всё, до мельчайших деталей.

Две подружки с работы уговорили к гадалке съездить, погадать. Так, для смеху, чтоб поржать потом. Поехали за город. Женщина та была не старая ещё, но глаза... глаза острые, колючие, смотрели будто не на тебя, а куда-то сквозь тебя. Подружек по очереди приняла, потом меня зовёт.

Я, смущённая, отнекиваюсь:

— Мне не надо, я не верю.

А она не отстаёт, смотрит в упор, и губы её складываются в тонкую улыбку:

— Ну, хоть один вопрос задай. Любопытство-то всё равно гложет? Куда оно денется?

Я, покраснев, и выпалила сдуру, сама не знаю зачем:

— Спать не могу. Кошмары. Покойники всё снятся, будто в гости ходят.

Она бровь приподняла, будто удивилась такой обыденной жалобе, потом так внимательно, до мурашек по спине, на меня посмотрела, что я потупилась.

— А что говорят-то тебе? — спросила она тихо.

— Ничего, — прошептала я. — Бабушка с детства вдалбливала: с ними разговаривать нельзя, а то привяжутся, не отцепятся потом. Они... они молчат.

Рассмеялась тогда гадалка. Смех был короткий, сухой, невесёлый. Никакого утешения в нём не было. Молча взяла щепотку какой-то травы, истёртой почти в пыль, бережно завернула в бумажку. Потом на обрывке газеты вывела несколько кривых слов и протянула мне:

— Если уж очень захочется с кем из них поговорить, сожги это на блюде и прочитай эти слова.

Я тогда, вся в смущении, сунула свёрток в сумку, дома достать побоялась, вдруг правда что откроется? А потом, с годами, и забыла, куда та сумка подевалась.

И вот держу я этот свёрток в дрожащих пальцах. Сердце стучит где-то в горле. Думаю: чего мне бояться-то теперь? И любопытство зашевелилось внутри: а дай-ка спрошу у Тамары? Чего ей надо? Чего она мне мерещится?

Сказано — сделано. Сожгла на блюде тот порошок. Прощептала написанные слова. И легла спать.

Ночью приснился сон, ясный, как наяву: стою я на Кировском мосту, вокруг свистит и воет тот самый астраханец, заливая глаза песком. Оборачиваюсь, а ко мне Тамара идёт. Нет, не идёт, почти бежит, платье её полощется на ветру, а шляпка странно держится на голове.

И лицо... Лицо у неё было не доброе, не спокойное, каким я его помнила, а искажённое такой бездонной тоской и слепой злостью, что холодный ужас, острый как игла, ударил мне прямо в сердце.

Я побежала. Бежала по знакомым с пелёнок улицам, видела каждую трещинку в асфальте, каждый покосившийся забор, каждый фонарь — с фотографической чёткостью. А она не отставала. Я слышала её шаги, тяжёлые, неженские, и её дыхание у себя за спиной хриплое, назойливое.

Забежала наконец в свой двор, с силой захлопнула калитку, накинула засов — клац! Звук был такой громкий, что я вздрогнула. Обернулась, опираясь о влажные от прохлады доски, отдышаться не могу.

А она уже стоит. Во дворе напротив. Стоит и смотрит. И говорит. Голос был совсем не её, не тот мелодичный, а глу-

хой, спрессованный, будто из-под земли:

— Рая, у меня так зуб болит.

Я, сквозь липкий страх и дрожь в коленях, выдавила:

— Тамара, какой зуб? Ты же мёртвая. У тебя уже ничего не болит.

— Значит, у тебя болит, — отрезала она, не моргнув. Её глаза в полутьме казались совсем чёрными, пустыми. — Скоро выпадет.

Помолчала. Тишина навалилась густая, давящая, будто и ветер стих. Потом добавила тише, но так отчётливо, что каждое слово будто выжгло у меня внутри:

— Я догоню его.

И я проснулась. Вся в ледяном поту, сердце колотится, как птица в клетке. Утро за окном было обычное, солнечное, безмятежное. Думаю, отмахнулась: ну, приснилась чертовщина какая-то. Бывает.

А после обеда зазвонил телефон. Резко, настойчиво. Мама подняла трубку, и я сразу, ещё не слыша слов, по тому, как побелели её костяшки, сжимающие аппарат, и по дрожанию подбородка, поняла. Беда.

Она что-то лепетала в трубку, а потом, положив её, обернулась ко мне. Лицо было белое, как мел, глаза огромные, испуганные.

— Женщина Ивана звонила... — прошептала она, и голос сорвался. — В справочнике фамилию нашу первой нашла. Говорит... Говорит, с утра он ей позвонил, такой радостный,

не свой: «Мне очень-очень тебе что-то важное сказать надо! Я сейчас, сию минуту прибегу!» Она его ждала, к окну подошла, увидела, как он со стороны центра почти бежит. Она ему дверь открыла... Квартира-то на третьем этаже. Слышит тяжёлые, частые шаги по лестнице. Вбежал он на площадку, весь раскрасневшийся, улыбается во весь рот, глаза горят... и вдруг схватился за грудь. За сердце. Беззвучно открыл рот и просто... осел. На её руках умер. Не успел ничего сказать. Ни единого слова.

Я тогда ахнула, и у меня само вырвалось, будто кто-то другой моим ртом говорил:

— Догнала его Тома... Всё-таки догнала. Не дала. Снова любить и жить не дала.

Тётя Рая замолчала, уставившись в своё остывшее чайное блюдо. Она сидела неподвижно, и казалось, вся её немудрёная, прожитая жизнь сконцентрировалась в этом молчании.

Мы не находили слов. Сидели в густой, звонкой тишине саманного дома, и только за окном, как вечный, неутомимый страж, выл тот самый астраханец. Он завывал в телеантеннах, швырял горсти песка в стёкла с таким остервенением, будто хотел пробить их, ворваться внутрь.

Интересно до боли устроен мир. Одни души, отлетая, становятся тихим, тёплым светом в оконце памяти. Тем, на что можно смотреть без страха, с одной лишь светлой грустью. А другие...

Другие, как этот степной ветер. Если не успокоятся после

положенных дней траура, не изойдут тихой печалью , то и не уйдут. Остаются. Навсегда привязанными не к любви даже, а к привычке, к чувству собственности, выжженному ревностью долга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.